

Евгений Витковский
Сергей Соловьев

Новый

Евгений Владимирович Витковский Сергей Владимирович Соловьёв Яновы: Штабс-капитан Янов. Племянник Янова

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70478437

*Яновы : Штабс-капитан Янов / Витковский Е.; Племянник Янова /
Соловьёв С.: Геликон Плюс; Санкт-Петербург; 2024
ISBN 978-5-00098-390-4*

Аннотация

Эта книга состоит всего из двух произведений – рассказа «Штабс-капитан Янов» Е. Витковского и повести «Племянник Янова» С. Соловьёва. Но объединяет их не только выбор героев. Повесть Сергея Соловьёва – дань памяти Евгения Витковского, великолепного переводчика, замечательного писателя (автора пенталогии о Павле II и открывателя дивного города Киммериона), составителя ряда поэтических антологий, многолетнего куратора серии «Ретро библиотеки приключений и научной фантастики» в издательстве «Престиж бук» – одного из незаменимых деятелей культуры, которых в нынешний жестокий век нам будет не хватать все больше и больше. А еще их объединяет память о веках менее

жестоких – о Серебряном у Витковского и о Бронзовом у Соловьева.

Содержание

Штабс-капитан Янов	7
Племянник Янова	43
Часть I	43
Конец ознакомительного фрагмента.	46

A large, elegant cursive signature in black ink, reading 'Яновы' (Yanovy).

**Евгений Витковский,
Сергей Соловьёв
Яновы: Штабс-капитан
Янов. Племянник Янова**

Иллюстрации Ирины Яблочкиной

Состав и примечания Сергея Соловьёва



ИЗДАТЕЛЬСТВО

ГЕЛИКОН ПЛЮС

www.heliconplus.ru

© Витковский Е. (наследники), текст, 2024

© Соловьев С., текст, 2024

© Яблочкина И., иллюстрации, 2024

© «Геликон Плюс», оформление, 2024

Штабс-капитан Янов

*Время — это наркотик.
Терри Пратчетт*

Было зябко, было необходимо. Был десятый час утра.

Впрочем, идти оставалось всего ничего: трактир «Викентич» — собственно, бывший Остафьева, но этого, кроме за-всегдатаев, никто уж не помнил — располагался во дворике на Сретенке, возле Сухарева рынка, втиснувшись между книготорговцем Даниловым и адвокатской конторой Авербуха. Сухой закон соблюдался здесь довольно строго, то есть ровно настолько, насколько требовало того военное время. Околоточный раз на дню непременно приволакивал собственную тушу — понятно, чтобы «кваском остудиться». Квас ему выносили, как и прочим, в фарфоровом кофейничке, и был в том кофейничке отнюдь не портвейн № 137, а простое очищенное, на мерзлой рябине. Околоточный выщеживал весь кофейник из носика, бурчал, что квас «стоялый, бесхмеленый», и мирно исчезал.

Прочих посетителей, если не платить бешено, ждал в кофейничках слабый кларет. Впрочем, в утренние часы, после ночи за картами, то за винтом, то за преферансом, как раз такой напиток и требовался Станиславу Люциановичу. Долгая ночь, пройди она за азартной игрой в клубе, утешила бы

сама по себе. Но здесь, на Мещанской, жил и принимал бесконечных гостей знаменитый писатель, большой мастер долгого и расчетливого картежа; некогда он много пил, а теперь вот уже три года как был верным рабом морфины. Сегодня игра шла вообще без хозяина, тот сказался нездоровым. По теории, в этом случае возглавлять стол должна была бы его матушка – тоже великая мастерица и винта, и преферанса. Но нынче не вышла и она, годы брали свое.

Последний раз Станислав Люцианович виделся со старухой девятого, в день именин ее, и старуху преферансом очень утешил, хотя для него самого была эта, в целом тоже отличнейшая игра тем же, чем для любителя очищенного вина кларет. Сегодняшний бридж тоже особой радости не принес, ибо за столом сидел новичок, молодой и противный, хотя с некоторым литературным именем. Впрочем, видал Станислав Люцианович таких новичков: если б не имя хозяина, после полуночи непременно появилось бы предложение перейти к настоящей игре, однако затевать шмендефер¹ в этом доме было и неприлично, и... еще неизвестно, кто ушел бы с шерстью, а кто стриженным. Проиграть много Станислав Люцианович не мог просто физически, не того класса он был игрок, но что радости за таким столом? Так что ночь пропала – ни физического успокоения не принесла, ни денег, на которые он отчасти рассчитывал. Последние, добытые другом-пушкинистом в аванс под книгу переводных стихотво-

¹ Азартная карточная игра. Известна также как железка, шмен.

рений другого еврея, петербургского, шли к концу, и это никак радовать не могло. Станислав Люцианович никогда не был хоть сколько-то богат, но боялся нищеты. Порой боялся вообще всего на свете.

А теперь, когда вот уж полгода прошло с тех пор, как застрелился Ли, настроение было совсем из рук вон. Он все хуже переносил одиночество, даже совсем короткое, и даже сегодня в трактире предпочел не оставаться за столиком наедине с собой. Одновременно в трактир вошел очень высокий, одного роста со Станиславом Люциановичем, старик, и как-то получилось, что за столик у окна с видом на Сухареву башню они сели одновременно.

Заказ завтрака упрощался для Станислава Люциановича двумя обстоятельствами: скудостью наличности и скудостью того меню, какое вообще соглашался принимать в себя его очень и очень нездоровый организм. Ел он почти одно только мясо с макаронами всю свою сознательную жизнь, кроме разве что двух очень голодных отрезков времени, выпавших в начале войны. Старик заказал отчего-то то же самое и очень посетовал на реплику полового, что «какавы по военному положению-с...». Станислав Люцианович этот напиток тоже очень любил, но ведь и вправду «военное положение-с...».

К тому времени, когда белоснежный половой принес горячее и кофейнички, они со стариком уже перекинулись фразой-другой из числа тех, что предшествуют доброже-

лательному разговору хотя бы до окончания трапезы. Старик похвалил «Викентьича» за чистоту, которой трактир и вправду отличался от прочих на Сухаревке: видно, потому что хозяин сменился в нем недавно; и трактир быстро набирал популярность у москвичей. Похоже было, что не век вековать этому кряжистому астраханскому мужику на задворках рынка. А к тому же расстегаями он мог заткнуть за пояс кого угодно, пожалуй, что и знаменитую «Прагу». Похвалил трактирщика и Stanisław Люцианович, добавив расхожее мнение, что «Викентьич» далеко пойдет. Тут старик поперхнулся.

– Не скажите, не скажите, милостивый государь, – произнес он, запив кашель «квасом», – жизнь так устроена, что многим из тех, кто собирается в ней далеко идти, приходится на самом деле далеко ехать, а уж если и идти, то даже слишком далеко и совсем не туда, куда хочется. Причем и такая участь еще не худшая, хуже всего – идти и не добровольно, и не далеко. Тогда плохо совсем. Но пока время не придет, то и час не настанет, извините за странную пословицу, она у нас в роду.

Мрачноватая мысль старика как нельзя более соответствовала собственному настроению Stanisław Люциановича, но он все же полагал, что при любом раскладе уж кто-то, а «Викентьич» из всех водоворотов верхом на расстеганном выплывет и, хоть падай на него австрийские «чемоданы» с зажигательной смесью, будет только богатеть да богатеть.

Именно у таких людей, правда, когда они свежие-приезжие, от пяти тысяч, проигранных за ночь, голова не болит. Сам-то Станислав Люцианович только однажды в клубе выиграл столько, даже больше, но случай пришел под утро, и денег в банке оказалось всего девятьсот рублей – теми пришлось и обойтись, шмендефер был в клубе все-таки несовершенно нелегальный. Слишком любил Станислав Люцианович саму игру; быть может, поэтому в настоящие карточные профессионалы идти не намеревался и оставался литератором. Поэтому, критиком и прочее, если платили хотя бы полтинник со строки.

Философская реплика старика вместе с принятым еще натошак стаканом кисленького наконец-то отвлекли мысли Станислава Люциановича от картежной темы. Зато вновь проступило мучившее его в последние месяцы еще больше, чем одиночество, острое чувство какого-то разлитого во Вселенной отчаяния. Посреди ночи просыпался он от кошмаров, другой раз не засыпал и вовсе, лежал до рассвета, переживая ужас повторимый и повторяемый, усугубляемый малейшими причинами: криком на улице, расползающимся по дому запахом жареной рыбы, пением зажившейся осенней мухи в комнате, которую он занимал сейчас у старшего из братьев, у того, что был на два десятка лет его старше, имел хорошую юридическую практику, брался за трудные гражданские иски и к самому младшему в семье относился вполне по-отцовски. Если бы не старший брат, вряд ли

был бы Станислав Люцианович тем, чем оказался теперь – картежником с примесью литератора, а был бы он больным петроградским поэтом, наехавшим в родную Москву к брату на харчи от холодной зимы и от слишком уж придвинувшегося к столице фронта. Самого его в армию не брали, на щеках играл яркий румянец и хотя настоящей чахотки у него, кажется, не было, но в призывной комиссии, где был он дважды, только бросали взгляд на его затянутую в корсет фигуру и сразу изрекали: «Не годен». Он боялся и туберкулеза, хотя почти что сам себе его придумал: неудачно поскользнулся в гостях у очень приятной собою поэтессы, ударился позвонком и с тех пор жил с малой, но непроходящей болью в нем. Даже корсет снимать было боязно, хотя надел он его впервые именно для призывной комиссии. Но вот придумалось, да и поселилось. Досаждал ему и фурункулез, но это, видимо, от неумеренного питания да еще, быть может, от вечных макарон с мясом. Но ничего другого Станислав Люцианович есть не умел.

Он мучительно готовил к изданию третью книгу стихотворений, десятки раз менял название, переставлял строфы, перестраивал порядок содержания, при этом нового писал очень мало, все больше критику, все больше о русской поэзии, о нынешней и о прежней. Получался небольшой доход, то складывавшийся с картежным, то им пожираемый, но единожды статьи были уже изданы под одной обложкой и доставили Станиславу Люциановичу прочную репутацию,

впрочем, не очень лестную: мол, как поэт он так себе, зато и знает, и понимает. Кажется, сочинили эту легенду друзья-писатели, свято верившие, что картами Люцианыч загребают большие тысячи. Сами своей выдумке поверили и сами стали «приработку» завидовать: на это ведь и впрямь талант нужен, потрудней это, чем про митиленскую прохладу сочинять фетовским размером. Станислав Люцианович, беря карты с зеленого сукна, иной раз думал то же самое.

Стояла поздняя осень, почти уже зима, на улицах то и дело попадались парни с гармониями и стоял бабий плач. Мобилизация шла непрерывно, даже в бескрайней империи не хватало людей для длинного фронта на западе, дела на нем обстояли всё хуже, носились в воздухе также слухи о революции, которой все время один только Распутин и мешает, но это мы уж как-нибудь, это нам не в первый раз, бывало хуже, пусть только нас господин Мережковский каким-то неведомым «Тришкой» не пугает. Словом, в воздухе веяло переменами. Все ждали, что будут они к лучшему, но Станислав Люцианович почти твердо верил, что таких не бывает, ибо всё на свете – только к худшему. Да и старик-визави, ливший тонкую струйку кларета в чашку, думал так же. Все до единого его суждения были эсхатологичны, притом ничуть не дышали старческой злобой на мир из-за невозможности пользоваться радостями жизни по болезни и по дряхлости; нет, его мирный пессимизм опирался на что-то вроде точного знания. Знания, что все плохо, – но это не повод отчаи-

ваться. Станислав Люцианович слышал про такой подход к жизни, но сам видел его впервые.

– Нет, вы не подумайте, что я лично здешнего хозяина имею в виду. Даже если нет у него, предположим, особенно блестящего будущего в ближайшем будущем, кто же может загадывать на времена еще более отдаленные? Мало ли людей, да что там, династий, держав, наконец, отслужат свой срок, впадут в забвение, все, кажется, в их жизни уже случилось – а нет, пройдет сколько-то годков, и все для них, оказывается, только начинается, да еще и с новым блеском.

Старик помолчал, медленно пережевывая гордость «Викентьича», а Станислав Люцианович ее не тронул – рыбу в тесте он есть не умел.

– Тема эта интересная! Вон Данилов говорит, что иной раз один и тот же экземпляр книги приходит к нему раз до двадцати. И то подешевле он ее продаст, то подороже, так и служит ему книга, пока вовсе не рассыплется. Вы ведь, простите старика за вольный вопрос, тоже из пишущих? – визави намекал, видимо, на длинные артистические волосы Станислава Люциановича, получил в ответ сдержанный кивок и продолжил: – Кстати, случилось мне когда-то в Туле побывать, так не поверите, престранный видал я там памятник – как бы с двумя лицами, в разные стороны глядящими. Монумент, говорят, в честь одного литератора; помнится, это по его воле ему после смерти такой памятник поставили. Даже лицо у него как будто ваше. Не имеете отношения случайно?..

Станислав Люцианович в Туле бывал, никакого он там памятника не видел. Впрочем, всякое могло быть – стоял памятник, да не стоит уже, старик, быть может, еще при Пушкине родился. К тому же, как обмолвился он в одной из первых фраз, был некогда лицом военным, а теперь числился в отставке при небольшом чине. Мало ли какой предмет мог показаться ему двуликим памятником литератору – Янус какой-нибудь губернский в саду чьем-нибудь.

– Впрочем, это, кажется, слишком... далеко было, чтобы вы помнить могли. В совершенно другие времена.

– Я, простите, более современной литературой занимаюсь. Также и Пушкиным, и Державиным, но более – современными авторами. К нынешним поэтам люди вашего возраста равнодушны ведь чаще всего.

– Да нет... – старик вдруг словно опомнился. – Позвольте, кстати, представиться: штабс-капитан Янов. В отставке, разумеется. Но в молодости, в молодости... очень, очень я изящной словесностью бывал увлечен. Поэтами начала века интересовался, а как же, весь мой интерес к эпохе – из-за них. Начало века, верите ли, нет ли – это моя первая и самая большая страсть, моя жизнь, если на то пошло. Вам, быть может, такое престранно от военного человека слышать, но я ведь и сам пописывал кое-что в подражание тем, которые в начале века.

«Вот оно что, – со скукой подумал Станислав Люцианович. – Старый бумагомаратель. Сейчас начнет юность вспо-

минать и свои опыты декламировать. Луна – волна. Тебя – любя». Но нечто в облике старика было приятно, некую горькую симпатию вызывал сей встреченный случайно человек, наподобие той, которую вызывает давно ослепший или давно потерявший руки: его незрячие глаза, возможно, еще видят солнце золотого века России, его отсеченные ладони осязают еще, быть может, шершавую рукоять дагестанской шашки, атлас жаркой талии, холодок почти уже канувшего столетия, которое совсем недавно еще странно было и называть «прошлым». Но тоска старика едва ли была о прошлом. Так что, о будущем? Теоретически такое могло бы приключиться, старику на вид казалось под восемьдесят, едва ли долго протянет. Подобной тоски о прошлом в будущем Станислав Люцианович и выдумать не взялся бы, ему становилось интересно. Даже если придется слушать уж и вовсе плохие стихи.

– А потом вот вжился в эпоху... поглубже. И тогда, знаете, писать перестал. Только читал уже с той поры. Хватит мне того, что с тогдашними поэтами могу одним воздухом дышать. Общим.

Фраза казалась бессмысленной: кларет, что ли? Но старик без остановки продолжал:

– Только вот ведь и более поздние писатели были замечательные. А их-то я себя и лишил, по доброй воле. И без некоторых книг, которые в юности читал, теперь очень тоскую. Перечесать негде.

– Отчего же, многие книги можно у букинистов найти. У того же Данилова, – Станислав Люцианович старался держаться сухо и сдержанно, чтобы старик не свернул с загадочного монолога на все еще небезопасные цветы своего юношеского вдохновения, не приведи Господи, начнет Олина читать или «Птичку» Туманского – над котлетами-то! Они у «Викентьяча» были отменные, шел от них горячий и свежий мясной пар. Некоторое время собеседники молчали. Потом старик продолжил, и как раз в прежнем духе:

– О нет, тех книг уже не найти ни за какие деньги, они все слишком недостижимы. Впрочем, это всё мечты и вовсе не интересные рассуждения. Кстати, вы поэта Кончакова знать еще не изволите? – старик сжал губы, словно боялся рассмеяться.

«Ну вот, – подумал Станислав Люцианович, – дождались».

– Не доводилось. Он печатается?

– Разумеется, хотя... пока что это еще не настоящее. Полагаю, у вас с ним состоится знакомство, просто не может иначе быть, не в ближайшем будущем, правда, но отчего-то именно так мне непреодолимо кажется. Непременно вы с ним познакомитесь, так жизнь устроена, что... вы, по всей вероятности, может быть, и несомненно, есть к этому все основания, должны будете с ним познакомиться, – выражение лица штабс-капитана изменилось, он продекламировал:

Несчастный дурак на берлинском дворе
Поет о туманной заре,
И надо бы бросить башмак в дурака,
Да не стоит дурак башмака...

– Вам, конечно, сейчас еще вряд ли нравится, – оборвал старик сам себя.

– Отчего же, но по четырем строчкам судить трудно. А ведь это стихи на злобу дня, отклик на военные события и сатира на Вильгельма, думаю...

– О нет, нет. Ни в коем случае не сатира. Впрочем, не важно. Разве мало и в истории искусства таких случаев, когда произведение обретало новое значение, едва проходило... так ли много времени? А династии? Сколько их было реставрировано? Бурбоны, Романовы, Стюарты...

То ли штабс-капитан заговаривался из-за возраста, то ли представлял собою редкий тип защитника личного мнения царя Михаила Федоровича, считавшего, что никакие бояре его на царство не выбирали, а прямо принял он престол от своего родича Ивана Грозного, – над этой точкой зрения, впрочем, кто только не потешался во время славного юбилея три года тому назад – перед самой войной.

Старик тем временем доел котлетку, допил «квас», позвал стуком ножа пологого и спросил еще кофейник. Половой окинул его оценивающим взглядом – пьяным клиенту по военному времени быть совсем негоже, – но свое мнение составил, оказалось оно в пользу гостя, и кофейник появился, а

половой растаял в воздухе. Ниоткуда затем явился и кофий – гороховый, правда, но неплохой. Завтрак затягивался. Станислав Люцианович нынче все-таки не спал, и беседа готова была тихо скончаться.

Но что-то в монологе старика, в разговоре о какой-то реставрации, когда все кругом только и бубнят о революции, вдруг напомнило Станиславу Люциановичу голос неизвестно куда девшегося минувшей весной петроградского поэта Игоря Юрьева, человека безусловно одаренного, хотя порой и невыносимого, в каждой строфе у него имелось от одного до пяти таких слов, за которыми приходилось лезть в Брокгауза. Исчез он почти тогда же, когда бедный Ли застрелился в Минске, украв револьвер из чужого стола. Память о тех днях у Станислава Люциановича болезненно дремала, но и разговоры, и интонации Юрьева вспомнились сразу. Лично знаком он с петроградцем не был, один раз попал на его выступление в какой-то не самый почтенный салон, обменялся пятью словами – и всё; кроме того, оба поэтических сборника рецензировал в «Утре России», находил у того дарование, но полагал, что все это какая-то рифмованная геология, то есть область, равно бесполезная и геологу, и поэту. Что и говорить, были эти стихи куда аполитичней рассуждений штабс-капитана, но что-то общее тут имелось. Словно один и тот же человек, прожив долгую жизнь, примирился и простил кому-то тяжкую обиду, ибо удалилась от него эта обида в пространстве и во времени. Коль скоро старик позволил

себе уйти в литературные темы, Станислав Люцианович решил и сам задать вопрос:

– Я, простите, могу ошибаться, но ваше лицо мне напоминает одного человека. Его зовут Игорь Юрьев, он исчез из Петрограда весной, поэт был не из последних... – тут Станислав Люцианович душой покривил, но полагал, что родственнику что-то такое все же услышать непременно полагается.

Штабс-капитан понимающе кивнул, выражая что-то вроде сдержанного сочувствия:

– Игорь Юрьев... Нет, он не умер, не тревожьтесь. Он, знаете ли, наследство получил в некотором роде... Вынужден был начать жить заново. Он всегда мечтал о Париже, впрочем, в Париже тогда была война. Он мог мечтать и о каком-нибудь другом городе... Вам с ним едва ли доведется свидеться, уверяю вас, но тем не менее всё с ним хорошо. Так мне кажется отчего-то. Хотя я, если желаете, мог бы ему что-то передать, если у вас к нему важное... Он ведь мой сравнительно близкий родственник, сын сестры моего брата... сводного. Постойте, сколько же ему... весной... было лет? Родился в пятьдесят восьмом, значит, до восемьдесят второго двадцать четыре, да еще пятнадцать, тридцать девятый ему шел... Для поэта, конечно, уже многовато, а вообще-то совсем еще молодой был тогда, и обстоятельства непреодолимые...

Старик что-то безнадежно путал в подсчетах: ни он сам,

ни Юрьев в пятьдесят восьмом году родиться никак не могли, старик был лет на двадцать старше, исчезнувший Юрьев, напротив, лет на двадцать моложе. Речь старика напоминала знаменитый трактирный подсчет по «Петру Кириллычу»: «Сорок и сорок – рупь сорок...» – почти бессмыслица, нужная лишь для того, чтобы уйти от темы. Видимо, не так уж просто все с этим Юрьевым обошлось. Кстати, на вид Юрьеву, когда его видел Станислав Люцианович, тридцати девяти быть не могло – едва ли тридцать. Против намерения окончить завтрак, Станислав Люцианович спросил еще кларету – и тут же его получил.

– Скажите, – продолжил Янов после долгого глотка из кофейника, – вы задумывались, в какое живете время?

– В нелегкое... – ответил Станислав Люцианович и тут понял, что разговор не закончился, а как раз наоборот – начинается. – В военное время. Так думают все, кто думает о России. Во мне русской крови нет ни капли, но другой родины у меня нет. Но ведь и войне когда-то же придет конец, будут ведь и перемены...

Старик чуть усмехнулся:

– Тут вы правы. Но перемены, полагаю, вам понятно, в такое время возможны только к худшему. Всегда, везде, никак иначе, и именно вам, мне так видится почему-то, суждено это понять и утвердить лучше, чем другим, хотя... хотя... вы – счастливый человек.

Станислав Люцианович оторопел: старик ясно произнес

название его собственной второй, то есть пока что последней изданной, поэтической книги. Интонация его чуть ли не прямо намекала: Янов отлично знает своего собеседника. Откуда бы? Никакого ключа к пониманию его собственной личности, кроме сомнительного родства с вовсе уж непонятным Игорем Юрьевым, не отыскивалось. Поэтому волей-неволей пришлось вернуться мыслями к пропавшему поэту. Стихи тот писал, сколько помнилось, обо всяких допотопных чудовищах, которым Кювье с учениками надавали названий, и еще о Ниобеях и Навзикаях, которые с этими монстрами ухитрялись порою вмещаться в одну и ту же строку. К символистам был он не ближе самого Станислава Люциановича, хотя как бы с другой стороны. В «Аполлоне» его высмеивали, хотя, помнится, раз или два печатали. Книги просто не раскупались – но кто нынче раскупается? Всё то же – Надсон... да вот Северянин. Ну Блок. Впрочем, один подход к любому литератору у Станислава Люциановича всегда был. Пришлось врать прямо в глаза, потому как стало любопытно.

– Может, все-таки вы могли бы подсказать, как связаться с Игорем Юрьевым. Это не мне нужно, ему ведь Шацкина деньги должна: хоть и немного, но полтинник за строчку она всегда платит. И в «Полифеме» – совсем ведь недавно стихи были, – Станислав Люцианович вдруг понял, что и не врет даже, ибо в последнем номере стихотворение Юрьева как раз мелькнуло и понравилось даже, хотя всего три строфы там было. Видимо, завалялось в редакционном портфеле.

– Вы передайте и Шацкиной, и... этим, словом... чтобы не изволили тревожиться. Молодой человек все сменил в своей жизни, простите, не столько не хочет он, сколько не может поддерживать прежних связей. Всякое ведь с человеком в молодости бывает.

Если верить Янову, молодость Юрьева носила относительный характер почти сорок лет, но старику его вероятный родственник, видимо, казался юношей.

– Но деньги-то?

– Нет, и денег не надо. Игорь Юрьев человек обеспеченный. По крайней мере теперь. Он, простите, что напоминаю, получил заветное наследство. Ведь и наследство – это к нашему прежнему разговору – тоже, в сущности, вещь, живущая заново! Второй раз, третий...

Старик все так же ничего ясного не хотел сообщить о судьбе родственника. Значит, не погиб Юрьев ни в какой готической истории, романтики тоже никакой – деньги получил, наследство. Тогда были мегатерии и Навзикаи, но теперь всё, никаких Навзикай, поехал куда-нибудь в усадьбу хорошо жить. Заветное наследство... Тьфу, но ведь это цитата из прошлогоднего, помнится, стихотворения Мандельштама: этот почти еще юноша с первых строк показался. Старик был все-таки что-то уж слишком начитан в области того, что пишут новейшие. Тут Станислав Люцианович вспомнил петроградского генерала, у которого, как в усадьбе, на квартире жили красивой жизнью чуть ли не все кубо-футуристы.

Не из такой ли породы визави? Хотя и не генерал. Впрочем, что-то не сходилось и в этом, уж очень грубо сочиненном варианте.

– А вы ведь еще не бывали в Париже? – спросил старик, недвусмысленно выделив слово «еще». Станислав Люцианович только усмехнулся про себя. На поездку в Париж у него никогда не было денег. В Италии он, впрочем, побывал, но больше за границей – нигде. Не жениться же на миллионерше... Впрочем, с амурными делами у него и в прошлом, и теперь дела обстояли неважно: орел – решка, стерва – сука, вечная чересполосица, а насчет любви – так пусть кошки мышам о ней пишут.

– А я вот побывал там... В начале восьмидесятых и еще однажды... Долго, словом, там жил. И видел много любопытных людей – в самый первый еще раз. Русские люди очень часто живут... жили и умирали в Париже. Может быть, в Париже и полагается русскому человеку умирать. Жаль. Но это все к делу не относится. На войне как на войне.

– Но вы ведь на фронте не были ни в эту войну, ни в японскую?

– Помнится, вы об этом с Юрьевым беседовали... Ему ведь в девятьсот четвертом всего двадцать седьмой год шел, так что... Да что это я о пустяках. Скажите лучше, а такие стихи вы как находите:

И каменный дом – это каменный дом,
И белая лошадь стоит под окном,
Никто не поможет, ни дьявол, ни Бог.
Танцует со шваброй солдатский сапог.

Он переждал и продолжил:

По улицам ветер несет шелуху.
Напялив халаты на рыбьем меху,
Бегут эмигранты нестройной гурьбой...

Последнюю строку штабс-капитан попридержал, но все-таки выговорил, быть может, не без влияния допитого кларета:

В Москве Маяковский покончил с собой.

– То есть как покончил? – удивился Станислав Люцианович. – Футуристы с собой не кончают, они все хотят кому-нибудь морду набить. Как такое может быть, то ли я все новости за картами...

– Да нет, конечно, нет... пока. Это все мечтательные из-

мышления моего юного друга Кончакова. Впрочем, что мы о таких отвлеченностях. Скажите, а в каком городе, если бы у вас был выбор, вы бы хотели умереть?

Станислав Люцианович поразмыслил.

– Мне кажется, каждый человек волен для себя такой город выбрать. Приехать в этот город, взять номер в гостинице, зарядить револьвер поаккуратнее... Впрочем, порою мне кажется, город сам выбирает человека, – ему вспомнилось, как Ли застрелился в Минске. – Можно, думаю, просто приехать в такой город и жить в нем. Пока не умрешь. Мне, к примеру, и Петербург... виноват, Петроград... равно любезны. Разве плохой выбор?

Янов улыбнулся. Так улыбается только рыбак, следящий за дрогнувшим поплавком. А Станислав Люцианович нутром чувствовал, что проглотил не наживку даже, а голый крючок. Поэтому очередной кофейничек появился на столе именно по его требованию, причем наливали из него в обе чашки. Народу было уже немало, но половой не выказывал недовольства: гости не штаны просиживали, а делали заказ. В кофейничке на этот раз против всяких ожиданий обнаружился крепкий, грубоватый портвейн: видимо, долго пьющим гостям его подавали тут по взаимопониманию. Станислава Люциановича это устроило в высшей степени, да и к разговору именно портвейн годился – может быть, своей нереальностью.

– Мне, конечно, хотелось бы побывать в Париже, – ринул-

ся Станислав Люцианович уже как в омут с обрыва, – видимо, Юрьеву тоже хотелось? Как там сейчас? Вот и думаю, может быть, еще побываю...

– Да, да, вы еще не бывали... Но побываете, не сомневайтесь. Это тоже характерно для... нашего времени. Хотя я не хотел бы в Париже умереть, там очень плохо ухаживают за могилами. Вы представить не можете, какой был скандал в восьмидесятых, когда оказалось, что могила чуть ли не лучшего русского поэта там стоит в заброшенном виде – и крест обрушен. Студент голландский обнаружил, сраму-то... Так и стояло, пока вдова из-за океана не примчалась. Не его одного вдова, впрочем, вдова много чья... А умер давно, то ли в тридцать седьмом, то ли в тридцать девятом, от печени, кажется...

«Какой там еще лучший поэт похоронен в Париже? В тридцать седьмом – да, Пушкин, но печень тут при чем, да и Париж?» – успел подумать Станислав Люцианович, а старика несло дальше:

– Да, вы правы, это хорошо – жить, пока не умрешь. Для человека ведь обычно и не важно, где умирать, важно когда. Иной согласен, чтоб где угодно – лишь бы попозже. Другой, напротив, считает, что чем раньше, тем лучше... как вот друг ваш, например, которого вы упоминали. Да, Париж.

Станислав Люцианович готов был поклясться, что о самоубийстве Ли он за столом не упоминал – но тут уж, видимо, был портвейн виноват. Создавалось впечатление, что

весь разговор идет вообще о чем-то совсем другом, о чем на самом деле за столом не говорится ни слова. Это вовсе не была обычная болтовня военного времени о жизни и смерти – где и когда умирать, где, когда, может быть, воскресать и служить заново; такой разговор был бы для этих дней так же необязателен и пуст, как «Лукоморье» младшего Суворина. Там, правда, платили, а тут приходилось приплачивать за портвейн.

– Хотели бы вы заново прожить те же годы, что уже прожили? Нет, не начать жить заново, а вернуться в какой-нибудь определенный год и снова жить рядом с самим собой, даже, возможно, рискуя себя же самого встретить. Чем не сюжет?..

– Трудно сказать сразу. Но, думается, дьяволу таким предложением меня искусить не удалось бы.

– Все-то вам позаманчивей бы... А нам-то... А вот нам – может быть, и не только мне одному, трудно как-то поверить, что выпало мне одному эту тропинку найти, – нам только такая вот судьба и казалась заманчивой. Не жили вы в те, в другие годы. Представьте, что живете вы в одном времени, а влюблены в другое. Скажем, можете вы уйти... во времена, когда Пушкин лицей заканчивал. И вы за ним черновики можете подбирать. А потом, когда его убьют – этому вы помешать не можете, – вернетесь к лицу еще раз и будете подбирать все те черновики, которые в первый раз подобрать не успели. А потом, если захотите, в третий раз...

– Надоест, – ответил Станислав Люцианович на паузу в речи Янова. Пушкиным он занимался много, но обрисованная стариком перспектива сразу породила в нем глухое недовольство самой своей кощунственной возможностью.

«Мало ли что там в этих черновиках обнаружишь», – подумал он, вспоминая свои собственные черновики, тщательно уничтожаемые – хотя, увы, не так уж тщательно. Вот недавно в своей же галоше один такой нашел, правда, стихотворение оказалось приличное, доработал и в книжку вставил. Но мало ли что так найти можно.

– Дело вкуса, милостивый государь, – хрипло ответил старик. В глазах его, полных старческой голубизны, сейчас стояла темная пророческая вода, в которую даже искушенному Станиславу Люциановичу заглядывать было боязно. Неожиданно он представил старика в качестве партнера по бриджу и подумал теми же словами, что и обычно в таких случаях за картами: «Какой отличнейший партнер, надо бы в жизни подальше от него держаться». – Все дело в вашем отношении к той эпохе, в которую вы идете по тропинке из своего времени. Ясное дело, в будущее вы влюблены быть не можете, его кто же знает. Вы вспомните тех, кто видел будущее более или менее ясно, – чем хорошим для них знание будущего оборачивалось? Кассандра, Тиресий в Греции, в Риме еще тоже были... Да чего там, Сухаревская башня вон рядом стоит пока что – так Брюса помните? А в конце восемнадцатого века – последние русские предсказатели, Андрей Враль,

Авель... Чем хорошим для них все обернулось? Тюрьмой, милостивый государь, или записью в скорбность умом. Один Мишель Нострадам, кажется, из будущего извлек немалые деньги, но только потому, что говорил уж так туманно, так рифмованно, что каждый его «Сотни» читает и что удобно, то и находит. Так что видеть будущее худо-бедно еще можно, но о нем непременно надо молчать. А влюбиться в него, уйти – это никогда и никому не дано, хотя, конечно, можно во имя этого будущего, ничего не говоря, зато давая обещания, много народа надуть. А тоска по прошлому зато – кто не болел ею? Разве вас эта болезнь миновала? Разве мало вы таких друзей нынче имеете, которым дорог шестнадцатый век во Флоренции либо же восемнадцатый в Версале? Найдутся, кстати, и любители самых препоганых эпох – очень уж все привлекательно выглядит с дальнего расстояния.

– Не хотите ли вы сказать, что когда-нибудь станет возможно влюбиться и в российское начало двадцатого века? – Станислав Люцианович, видимо, в силу большого количества крепкого портвейна уже окончательно принял словесную игру старика. – Когда на фронтах удушливые газы применяются, я вот у Канатчиковой дачи позавчера был, через решетку смотрел на офицеров, с фронта привезенных. Разве такой ужас был когда-нибудь? А Распутин? А дороговизна?

– Да, дороговизна, – старик сумрачно осклабился, – соль в нынешнем году уже полкопейки фунт... Ну, это еще не так дорого. Соли всюду грош цена, просыпали... ну и так далее.

Нет, эти стихи вам не понравятся, вам их не прочесть. Впрочем, могу и ошибаться, не помню. Я о другом. Не буду вас уверять, что у этого... у вашего времени будет столько поклонников, как ни у какой другой эпохи за всю российскую тысячу лет. Не буду.

– Но ведь кончается что-то... Значит, и начнется что-нибудь?

– Вот-вот-вот... Так вот, представьте вы, что начнется такое, что окажется на ваш собственный взгляд неизмеримо хуже. Таким оно скверным станет, что и вообразить нынче вы не можете, нет в человеческом языке слов для этого. Пока что – нет. И так несколько раз: дальше – хуже. Но, конечно, не до бесконечности, и в какой-то момент совсем плохое начнет казаться не окончательно плохим по сравнению с чудовищно отвратительным, и тогда вернутся времена уже лишь относительно плохие, такие времена, когда хоть можно дух перевести и взглянуть назад – чтобы увидеть, ну... ну хотя бы нас с вами за столиком у «Викентьича». И вот оглянется потомок... и захочет к нам с вами за столик. Третьим будет.

– Стул попросить надо... – машинально сболтнул Станислав Люцианович, но тут же подхватил нить игры: – Да, ужасный вы вариант придумали, но ведь правдоподобный...

– И вот... появится у него, у потомка, специалиста по истории и теории... неважно чего, но появится у него возможность уйти в какой-нибудь один давний, специально выбран-

ный год. Чтобы жить, с него начиная, покуда не придет другой год, в котором жить уже нельзя, эпоха в нем кончается.

Тогда надо прийти к той же тропинке и опять уйти к началу и снова прожить, сколько хочется, — ни с каким дьяволом ничем не рассчитываясь, просто как в дверь сквозь стену войти и с другой стороны выйти — примерно как у одного английского писателя описано, он скоро, кстати, в Москве будет... ну да Господь с ним. До того самого неприятного года или, скажем, до конца мирного времени, если думать о войне станет особенно гадко. Ну и в третий раз... словом, покуда просто не пройдешь весь свой земной срок. Только уговор — не встречать самого себя. Впрочем, это как раз просто — только и дела, что в другом городе селиться.

— А если встретишь самого себя? Себя самого... на глади зеркальной? — Станислав Люцианович подхватил манеру старика говорить оборванными цитатами из современной поэзии. Старик опознал Блока и одобрительно кивнул.

— Настоятельно не рекомендуется, ибо вызовет возвращение назад, за стену, в точку, из которой пришел. А потомку туда нельзя: там только что помер занудный и косноязычный дед, думавший, что чем-то управляет... Думаю, он сейчас где-нибудь в глухой провинции в гимназию ходит, ребяенок такой безобидный. А там, потом... Ну, нельзя там быть, там вот-вот охота на ведьм начнется, словом, простите, и сам не знаю, что там дальше будет, но страшно и мерзко. И нельзя туда, и не надо поэтому.

– Дичь какая-то, – возмутился Станислав Люцианович. Нереально просвечивающий мир трагического и величественного будущего – вдруг в него почему-то нельзя. Чушь. Не бывает. – Сатира, простите. Низкий жанр, – сказал он вслух.

– Жизнь вообще очень часто пахнет одною сатирою, только не все это видеть хотят. И вот, простите уж, dokonчу. И уйдет потомок в прошлое, скажем для примера – в одна тысяча девятьсот первый год. И начнет вживаться в эпоху – неторопливо, как у себя привык, там время вообще медленнее идет. Проживет лучшие годы своей молодости и ранней зрелости рядом с вами... и со мной. А потом, когда срок придет, уйдет в тот же самый год во второй раз, ну на час позже выйдет, чтоб с собой не встречаться. Очень еще будет жалеть, что парижскую выставку тысяча девятисотого года так и не может своими глазами увидеть. И зрелость свою всю промотается по белому свету, даже в Трансвааль заедет, хоть война давно и кончилась. А под вечер наступающего четырнадцатого года уже зрелым, отпраздновавшим пятидесятилетие человеком выпьет бокал настоящей «Вдовы Клико» и снова уйдет в девятьсот первый. Заберется в культурную провинцию у себя на родине, вовсе уверенный, что больше никогда никуда идти не придется. Но в тот же самый Новый год четырнадцатого поймет, что шестьдесят три – еще не настоящая старость, а хуже не будет, чем доживать эту самую настоящую старость в голодном Киеве... или неважно где. Словом, уй-

дет он в девятьсот первый год снова...



Старик замолчал, надолго припал к чашке почти допитого портвейна. Станислав Люцианович уже не помнил – который же это по счету, и соображал, откуда возьмет столько личности. Впрочем, старик явно собирался платить за себя сам, так что ничего страшного. За путаными ходами мысли штабс-капитана он уследить уже не мог, но идея судьбы добровольного Агасфера, проживающего во времени все одну и ту же эпоху, была страшна и необычна, а особенно непонятно было, зачем такой сложный сюжет привязывать именно к нынешнему, отнюдь не такому уж привлекательному времени. Станислав Люцианович долго смотрел в окно на Сухареву башню, а когда возвратился взглядом к опустевшему кофейничку, то обнаружил, что на столе появился еще один предмет, видимо, извлеченный стариком из кармана. Присмотревшись через очки, Станислав Люцианович понял, что перед Яновым разложен план города Одессы, вынутый из Бедекера за 1896 год.

– Ведущие к морю ступени... – пробормотал старик, углубляясь в изучение плана. – Вы ведь никогда в Одессе не бывали?

– Был, но коротко. По дороге в Италию, пять лет тому назад.

– Да? Об этом, кажется, в мое время никто не писал...

Реплика была очевидно бессмысленна, если только невероятный старик не служил в тайной полиции. Но с метафиз-

зикой жизни, идущей по кругу, как цепь на велосипеде, подобная служба как-то не связывалась. Станислав Люцианович чувствовал, что явно перебрал содержимого кофейничков, устал как собака и от дальнейшей беседы проку не будет: позвал полового и расплатился. Попрощался со стариком, – тот поднял на него бледно-голубые глаза и поморгал. Слова не вырывались из его горла, только катался кадык на шее, покрытой возрастными пятнами. Одними губами сказал он что-то, быть может, даже и не по-русски, а на каком языке – поди угадай. Станислав Люцианович счел прощание оконченным. Надевая остроконечную котиковую шапку – тоже подарок брата-адвоката, – он обернулся. Штабс-капитан Янов сидел за тем же столиком, низко склонившись над планом города Одессы.

Этот план, да и сам старик неоднократно вспоминались Станиславу Люциановичу тремя годами позже, в той самой Одессе, куда занес его пыльный ветер переворота, и вот-вот, с уходом французской эскадры с рейда, грозил этот ветер смести его дальше – то ли в море, то ли в Бессарабию, то ли в Турцию. Станислав Люцианович совсем оголодал за последние годы, даже забыл свое отвращение к любой еде, кроме макарон с мясом: есть приходилось то, что удавалось добыть, и фурункулез замучил его вконец. Он долгими часами бродил по Одессе безо всякой цели и размышлял, что план города из Бедекера, пусть даже и за 1896 год, ему бы сейчас очень пригодился. Старик вспоминался плохо, его подернула пеле-

на нереальности, слова, размытые алкоголем, вспоминались совсем смутно. Одно не вызывало сомнений: предсказание, что дальше будет много хуже, а потом – еще хуже, уже сбылось и, вероятно, должно было состояться и все прочее. Станислав Люцианович, может быть, и не согласился бы возвращаться в тот осенний день шестнадцатого года, за считанные недели до убийства Распутина: после этого он выпустил свой третий сборник, а сейчас так же медленно готовил четвертый, понятия не имея, где его можно будет издать, но чувствовал, что книга получается куда как значительней всего, что было у него до сих пор, да к тому же предвидел, что самое важное скажет лишь потом – когда и четвертая книга отойдет в прошлое. Где-то впереди и вверху мерещилась ему такая высота поэзии, что та дорога в приморское небо, которая виделась ему сейчас, должна будет показаться низинным проселком.

В карты он больше не играл, жил продажей оставшихся вещей. С ним была девочка-жена, которую он вывез из последнего набега в Петроград, которую нужно было довести до Италии – кажется, у нее было плохо с легкими. Пережив в Питере две жутких зимы, Станислав Люцианович убедился в справедливости мнения, что холод хуже голода, и подался на юг. Оба они как-то уцелели, сейчас третий день ели купленный на предпоследние деньги кашкавал – тяжелый молдавский сыр. Девочка-жена осталась одна в нанятой комнате, а Станислава Люциановича выгнала на улицу лютая нуж-

да: стало нечего курить. На папиросы еще хватало, на рассыпные, конечно.

Купив два десятка «Зефира» у дикого мальчишки, едва ли не китайчонка по виду, Станислав Люцианович пошел к морю: можно было еще полчаса побродить, прежде чем начнется лютый приступ одиночества и потребность ухватиться за невообразимо сильные руки девочки-жены станет страшнее всех других – чтоб не бредить поисками яда или не кинуться в сухой колодец. Сам того не заметив, он забрел на кладбище, неухоженное и оттого совершенно утратившее право на почтение памяти усопших. «Мерзость запустения» – обычный литературный штамп – было бы для этого места еще комплиментом. Станислав Люцианович сел на край массивного надгробия и закурил.

Надпись на плите не удивила его. Он привык к совпадениям, а смерть лучшего и единственного друга, бедного самоубийцы Ли, свято верившего в свою способность влиять на реальность метафизически, убедила в том, что ливень совпадений должен рушиться теперь на него самого, одного из двоих, кто остался зачем-то жить в распадающемся мире, где, однако, всё же еще не все стихи написаны на страшном в своей красоте русском языке.

Надпись на плите гласила:

**ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ РАБ БОЖИЙ АЛЕКСАНДР
НИКИФОРОВИЧ ЯНОВ, ШТАБС-КАПИТАН.**

ПРЕСТАВИЛСЯ НОЯБРЯ ДЕВЯТОГО 1909 ГОДА.
ЖИЗНИ ЕГО ШЕЛ ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ
ГОД.
ПОМОЛИСЬ О НЕМ, СТРАННИК.

«Другой, конечно, но ничто не случайно», – подумал Станислав Люцианович, затягиваясь. Могила штабс-капитана была такая же голая и грязная, как все кладбище, лишь тяжелая плита из непонятного камня, пока еще никем не свороченная для хозяйственных нужд, успевшая за десять лет пребывания на своем месте сильно покрыться мхом, говорила, что покойник был человек не бедный и было кому по-заботиться об установке этого печального, но не такого уж дешевого напоминания живым о мертвом. Станислав Люцианович прикинул в уме: когда они встретились у «Викентьича» с тем, другим Яновым, этот, одесский, уже семь лет как спал смертным сном на приморском кладбище. В каком же году родился этот? В тысяча восемьсот двадцать третьем, надо полагать. В царствование государя Александра Первого, выходит, при Пушкине. Так что едва ли родственник тому, московскому. Отец разве? Может быть, в конце-то концов. Но напоминание пришло с того самого дальнего, холодно-го берега, к которому устремлена вся жизнь и где ждет его, хочется верить, душа бедного Ли. На память пришли стихи покойного друга с эпитафией из Баратынского насчет «бездарной Цирцеи»:

Пусть дни идут. И вестью дальней вея,
Меня настигла хладная струя.
И жизнь моя – *безчарная Цириця*
Пред холодом иного бытия ²

Вторая строфа куда-то пропала. Станислав Люцианович поскреб ногтем зелень, облепившую буквы надгробия, и вспомнил слова московского собеседника о том, что в Париже могилы лучших русских поэтов пребывают в полном небрежении. Отчего-то тут же память отдала и вторую строфу:

О жизнь моя! Не сам ли корень моли
К своим устам без страха я поднес.
И вот теперь – ни радости, ни боли,
Ни долгих мук, ни мимолетных слез.

Третью строфу Станислав Люцианович пробормотал уже вслух, вспоминая, как шевелились губы старика в миг прощания в московском трактире, что-то шепча невыносимо важное, но уже никогда не узнать, что именно, и даже не вспомнить – на каком языке:

Ты, как равнина плоская, открыта

² Подлинное стихотворение Муни (С. В. Киссина) от 1911 года. (*Прим. Е. Витковского.*)

Напору волн и вою всех ветров.
И всякая волна – волна Коцита,
И всякий ветер – с Летейских берегов.

Ветер с моря усиливался, и Станислав Люцианович почувствовал одновременно приближение ночи и подступание ужаса. Он поднялся, погасил папиросу о надгробие и, покашливая от дурного табаку, побрел домой.

2002, 1984, 1982, 1919, 1916, 1914, 1901

Племянник Янова

Было зябко, было необходимо. Был десятый час утра.

Евгений Витковский. «Штабс-капитан Янов»

Часть I

1

Фамилия Янов мне запомнилась. Одно из воспоминаний детства, подробностей, вроде бы случайных, которые сохраняются, вызывая за собой целые сцены, а те, в свою очередь, помогают почувствовать то, что называется *air du temps*, атмосферу эпохи.

Застолье у моего отца. Он любил, когда у него собирались компании. У него была однокомнатная квартира, в которой он жил один – в то время, в конце 60-х, не такая уж исключительная редкость, но все же важная привилегия, собственный островок в житейском море.

Телефон у отца отсутствовал, поэтому мы с мамой приехали без предупреждения. Это не значит, что он нас не ждал, на выходных мы появлялись почти каждую неделю, хотя для

этого надо было ехать на другой конец города. Вероятно, она забрала меня после школы – субботу тогда уже сделали нерабочим днем, но школьников это не касалось.

Жили мы с дедом, маминым отцом, в его трехкомнатной. По тем временам – тоже роскошь, следствие его успешной военно-морской карьеры. Я считал такой расклад вполне нормальным – мы живем рядом с маминой работой, недалеко от школы. К тому же мой отец работал по ночам и вставал очень поздно – разве не достойное объяснение?

Впрочем, все это извивы эпохи, фон. Сон, который развеется и забудется, если о нем не рассказывать.

Застолье было главным образом мужским. Четыре или пять отцовских приятелей, пара женщин, пришедших за компанию. Едва мы сели за стол, слово взял краснолицый Августинов. Он работал либреттистом в Мариинке. Из остальных я знал фронтовика Ю. Д., чудом выжившего на Невском пятачке, а ныне хромого доцента с седой артистической шевелюрой, преподававшего в холодильном институте, и очень рассудительного Ю. Н., главного инженера на каком-то крупном заводе, в отцовском кругу носившего прозвище «Священный Сенешаль».

Не буду врать, что запомнил речь Августинова. Что в ней могло меня заинтересовать? Вот как он держался – я помню: бокал с золотистым шампанским в его руке, широту его жестов, которыми он подчеркивал окончания фраз. Помню пузырьки, которые поднимались со дна его бокала. Помню

еще, меня удивляло, что шампанское пенится слабо и что он не расплескал ни капли.

Что-то он говорил про прыжки с трамплина, находя в этом символический смысл. Настоящий мужчина создан для прыжков с трамплина, как птица для полета.

Как обычно, это моя мама первой обратила внимание на серьезную проблему. Желая произвести впечатление на гостей, отец смог «достать» баранью ногу и запечь ее в духовке. На кулинарные способности он не жаловался. Коронное блюдо! Но, озабоченный готовкой, не позаботился о рядовых закусках. Два-три ломтика мяса перед каждым – и все. Вино, коньяк и шампанское гости принесли с собой, но кто же несет закуски?

– Ничего страшного, – поднялся один из гостей. Лысоватый, но моложе других. Уж точно моложе Ю. Н., Ю. Д. и Августинова. И моложе моего отца, хотя не так сильно. Раньше я его не видел. Какая-то пушистая улыбка, одновременно виноватая и снисходительная. Почему пушистая, может, он был плохо выбрит? Это я анализирую свои впечатления и занимаюсь толкованием прошлого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.